

## Учитель

Влас ДОРОШЕВИЧ

Артемий Филатович Эразмов, высокий сгорбленный человек, лет пятидесяти пяти — по внешнему виду, сорока пяти — на самом деле.

Рыжеватые, с сильной проседью волосы.

Одно из тех жёстких, сухих озлобленных лиц, по которому вы сразу узнаете или старого департаментского чиновника или педагога.

Недаром же опытные защитники стараются по возможности вычёркивать педагогов из списка присяжных заседателей.

Сиденье в классе, сиденье вечером за ученическими тетрадками, сиденье в педагогическом совете, беготня по урокам, бесконечное повторение одного и того же из года в год, изо дня в день, тоскливое, однообразное, — всё это выедало душу, вытравляло из неё всё живое.

Выцветала душа, — выцветало лицо.

Глаза утратили всякий блеск, стали какими-то оловянными, лицо приняло угрюмо-озлобленное, тоскливое выражение, волосы рано поседели.

Он тянул свою лямку, — лямку человека, который должен работать, как загнанная почтовая кляча, за 100 рублей в месяц.

Для людей этой породы природа создаёт каких-то особенных жён.

Женщины, которые “пышно расцветают”, чтобы увлечь какого-нибудь молодого учителя и затем вянут, блёкнут и в два года превращаются в каких-то мегер.

Глаза вваливаются, волосы редеют, щёки спадают, губы и дёсны бледнеют, и они начинают страдать малокровием, худосочием и “нервами”.

Зубы желтеют и покрываются зеленоватым налётом.

И в довершение несчастья, — и в это-то именно время этим бедным дамам и начинает казаться, что они неотразимо хороши.

Что стоит только сделать платье “к лицу”...

А так как на 100 рублей жалованья платьев особенно не нашьёшься, то и начинаются дома сцены, ссоры, свары, истерики.

Кроме совсем особенных жён, имеющих способность удивительно быстро дурнеть и считать себя красавицами, природа создаёт для этих людей ещё и совсем особую породу кухарок.

Настоящих ведьм, которым какое-то удовольствие доставляет бить хозяйскую посуду, причинять всяческий ущерб и без того еле-еле держащемуся хозяйству, говорить дерзости господам, отравлять им кровь, которой у тех и без того мало, которая и без того вся перепорчена.

Скверный обед, тесная, неудобная квартира, грошечные кредиторы, с ножом у горла требующие уплаты, истерики жены, лишения, необходимость отказывать себе во всём, кончая четвёркой мало-мальски порядочного табаку.

Когда Артемию Филатовичу предлагали порядочную папироску, — даже она приводила его в раздражение.

Чёрт возьми! Ведь курят же люди хоть табак порядочный. А тут и в этом себе отказывай!

Со стороны можно подумать, что в жизни Артемия Филатовича нет ничего, кроме однообразного, как стук маятника, добросовестного исполнения своих обязанностей и скудного питания своего тела.

Присмотревшись поближе, вы увидели бы, что всё его существо отравлено желчью.

Вся жизнь наполнена бессильной злобой, скрытой ненавистью.

Ненавистью ко всему. К жене, этой отвратительной костлявой женщине, с редкими волосами, которая корчится в истерическом припадке на продранном диване и визжит:

— Вы загубили мою жизнь... мою молодость... вы, нищий, нищий, нищий...

К кухарке, которая с особым, как ему кажется, злорадством говорит, подавая ему сапоги:

— А левый сапог-то опять каши просит!

Которой он не рискует даже заметить, что суп плох, потому что, того и гляди, нарвёшься на дерзость:

— Чай, не по десяти копеек за мясо платим, из восьмикопеечного-то разносолов не наваришь!

Он ненавидел, глубоко в душе ненавидел своих товарищей, таких же каторжных бедняков, как он, вечно завистливых, злобных, готовых на каверзу, на сплетню, на что угодно из-за лишней улыбки директора, пресмыкавшегося перед сильными, дрожавших за себя и борющихся за жалкое существование интригой, наущничеством.

За жалкое существование, которое эти бедняги покупали такой дорогой ценой.

Артемий Филатович и презирал и ненавидел их.

Ученики боялись его, как “старого учителя”, не принимавшего никаких отговорок.

Но он знал, что только страхом держит в узде эту армию маленьких негодяев, готовых поднять его на смех, сделать какую-нибудь мелкую каверзу.

Он ждал этой гадости каждую секунду.

Знал, что его за глаза зовут Жирафом и, входя в класс, видел, что на чёрной доске нарисован уродливый жираф.

Он должен был делать вид, что не замечает этого.

— Опять доска не вычищена? Дежурный, вытрите!

И слышал, как в классе фыркали то там, то здесь, пока дежурный нарочно медленно вытирал жирафа с длинной, безобразной шеей.

Он макал перо в чернильницу, чтобы поставить отметку, и вдруг ставит в журнале кляксу. Чернильница была наполнена мухами.

В классе фыркали. Он стучал по столу и, делая вид, будто не замечает, что это сделано нарочно, вызывает дежурного:

— Что это?

— Мухи-с!

И в глазах дежурного сквозил еле сдерживаемый смех.

— Вы не смотрите за чернильницей!

— Я смотрел... Они... сами... налетели-с...

Дежурный еле сдерживался, чтоб не прыснуть со смеху.

Он еле сдерживался, чтоб не отодрать дежурного за уши.

В классе снова сдержанно фыркали.

Над ним глумились, потешались, и он смотрел на них со злобой, с ненавистью, выбирая, кого бы вызвать, кому бы “влепить единицу”, кого бы заставить страдать.

— Если бы со мною случилось несчастье, они радовались бы!

И он всей душой ненавидел этих мальчишек, которым была отдана вся его жизнь.

Этих лентяев, в которых он должен был силою вдавливать изо дня в день одни и те же правила.

И этот-то без времени состарившийся, полуседой, измученный человек вступил в борьбу, в единоборство с Подгурским Алексеем, учеником четвёртого класса.

Началось всё из-за пустяков.

Артемий Филатович только что выдержал дома одну из обычных безобразных сцен.

Жена валялась по дивану и вопила в истерическом припадке:

— Зачем вы женились, когда вы нищий? Зачем загубили чужую молодую жизнь?

Лавочник требовал уплаты и грозил подать к мировому.

— Мне надоело свои деньги получать по мелочам. Я и до дилехтора дойду! Я в своём полном праве!

Кухарка орала в кухне нарочно, чтобы слышно было в комнатах, что она “у нищих

жить больше не согласна”.

И Артемий Филатович убежал из этого ада.

Он шёл по улице, ничего не замечая, ничего не видя перед собою, кляня день, час, минуту своего рождения.

Как вдруг на перекрёстке какой-то улицы его обдало грязью с головы до ног.

Брызги грязи, вылетавшие из-под резиновых шин, залепили одно стекло у очков.

Обстоятельство довольно обыкновенное во всяком городе, где есть грязь, бедняки, которые ходят пешком, и богачи, которые летают на резине.

Но Артемию Филатовичу, именно в эту минуту, показалось, что ему нанесли страшное оскорбление, ударили по лицу.

Ему, нищему, кинули грязью в лицо, ему, труженику, ему, отдавшему всю жизнь на воспитание...

Он поднял голову.

С пролетавшей мимо коляски на резине кланялся ученик IV класса, Подгурский Алексей, в узенькой “прусской” фуражке, в ловко сшитой “в талию” шинели.

Кланялся насмешливо, иронически, как показалось Артемию Филатовичу.

Да мог ли он иначе кланяться? Он резиновыми шинами обдал с ног до головы грязью бедняка учителя, которого глубоко презирал за его бедность.

— Мальчишка... дрянь... негодай...

У Артемия Филатовича слёзы подступили к горлу.

Он стоял на месте с сжатыми кулаками.

— Ну, погоди же!

На следующий день, едва Артемий Филатович вошёл в коридор классов, как к нему подлетел Подгурский.

Чистенький, изящный, немножко франтоватый, как всегда, с тщательно расчёсанным, приглаженным пробором, с “гривкой”, кокетливо спускавшейся на лоб, в новенькой, ловко и красиво сидевшей курточке, с белыми манжетами, выглядывавшими из-под рукавов золотыми запонками, с чёрной широкой лентой с золотой монограммой, свесившейся в виде цепочки из бокового кармана, тип, образчик, идеал школьного франтовства.

— Извините, Артемий Филатович... Я, кажется, вас вчера обрызгал... Но, право, это не нарочно... Кучер не сдержал: лошадь молодая, несёт... Я хотел тогда же извиниться, но лошадь...

Он ещё смеет говорить ему в лицо про лошадей, про кучеров, хвастаясь, рисуясь...

— Пошёл прочь... мальчишка!..

— Жираф идёт... злющий! — объявил дежурный.

Класс затих.

Артемий Филатович действительно вошёл в класс мрачнее тучи.

Молча раскрыл журнал, не глядя на класс, выдержал паузу, и среди мёртвой тишины, такой тишины, что слышно было, как муха прожужжит, раздался его голос, звучавший на этот раз каким-то резким металлическим оттенком:

— Подгурский Алексей.

Тот вышел “к доске”.

— Отвечайте сегодняшний урок.

Подгурский начал.

— Не так!

Подгурский начал снова.

— Не так!

Ученик остановился, он то бледнел, то краснел, на глазах выступили слёзы. Он замолчал.

— Ну-с, г. Подгурский?

— Я... я не знаю... я не выучил урока.

— Единица.

Артемий Филатович с чувством, с толком, с расстановкой поставил огромную единицу, “во всю клетку” журнала.

— На место!.. Надо уроки учить, а не на лихачах кататься, в юнкерских фуражках... Прусский юнкер какой!

Самое страшное уже случилось: единица была поставлена.

Подгурский был обижен, обозлён, стал дерзок и немножко нахален:

— Ни на каких лихачах не ездил. Нам незачем на лихачах ездить. У папы, слава Богу, свои лошади есть! И фуражку ношу такую, какую папа позволяет. И никакого отношения к учению моя фуражка не имеет. Вот что.

Артемий Филатович побагровел.

— Молчать!.. На место!.. Смеешь ещё разговаривать!..

Он никогда не говорил с учениками на “ты”, всегда держался сухого и официального “вы” с этими “бестиями”. Но теперь он не владел собой.

— Мальчишка... дрянь... негодяй...

— На место я пойду, а ругаться вы не имеете никакого права! — ворчал Подгурский, идя на место.

— Вон из класса!..

Подгурский круто повернулся на каблуках и дерзко, вызывающе, большими шагами вышел из класса.

Артемий Филатович не помнил, что делал: рвал, метал, то ставил единицу, то сам начинал подсказывать ответы и ставил пятёрки слабым ученикам, назло, в пику, чтоб доказать своё беспристрастие.

Едва пробил звонок, возвещающий конец класса, как он бросился в учительскую и заявил, что ему надо говорить с г. директором.

— Подгурский Алексей...

— Вы так кричали, — поморщившись, перебил его директор, — что это? На кого это?

— Подгурский Алексей мне нагрубил... Я прошу строго взыскать...

— Подгурский... Подгурский... который это?.. Ах, помню... Это сын Подгурского... Он, кажется, недурно учился?

— Да... но он... Он груб... Он позволяет себе...

— Хорошо... Хорошо... Но кричать... Кричать не следует... Это не бурса, знаете... Кричать у нас не следует... Подгурский будет наказан... Но кричать не следовало... Это некрасиво... Мешает занятиям в других классах... Это не педагогично... Я вас попрошу, чтоб не повторялось...

Инспектору было поручено прочитать Подгурскому нотацию перед всем классом.

Подгурского посадили на три часа в карцер.

Подгурский теперь хвастался перед товарищами.

— Это всё за то он мне мстит, что я его, жирафа, вчера с ног до головы окатил грязью... Ну, да будет он у меня помнить!

Война между этим стариком и мальчиком была объявлена. Война не на живот, а на смерть.

Подгурского вызывали к доске только для того, чтобы постараться поставить единицу, двойку.

Его ловили, сбивали, — за самые хорошие ответы не ставили больше тройки.

— Жираф мстит, — говорил класс, с интересом следя за этой войной между учеником и учителем.

— Вы списали, — злобным тоном говорил Артемий Филатович, возвращая Подгурскому тетрадку с хорошо исполненным уроком.

— Я не списывал! — холодно отвечал Подгурский, глядя смело и дерзко ему в глаза.

— На место! — кричал Артемий Филатович, и возмущённый этим дерзким взглядом и чувствуя, что Подгурский прав.

Его самого выводила из себя эта глупая война.

Но назад идти было трудно.

— Что подумает этот мальчишка? Скажет, что я сдался. Что будет говорить класс? Войну замечали все.

— Эразмов хочет, кажется, добиться, чтоб его пригласили на приватный урок у Подгурского! — шушукались коллеги Артемия Филатовича.

Он догадывался об этих толках, и чтоб показать своё беспристрастие, после единиц вдруг начал ставить Подгурскому пятёрки.

Он терял голову, задышался в борьбе.

А борьба шла, не переставая ни на секунду.

Артемий Филатович не мог подойти к доске.

Он чувствовал, что на спину его старого, побелевшего по швам фрака устремлён насмешливый, дерзкий взгляд Подгурского, что тот следит за каждым его движением, подмечает и осмеивает каждый неуклюжий жест Жирафа.

И, оборачиваясь, он встречался глазами с действительно устремлённым на него дерзким, смелым, вызывающим взглядом.

Мальчишка бравировал.

В один из “пятёрышных периодов”, когда, по выражению класса, “Жираф великодушничал”, класс посетило приезжее “лицо”.

— Приехал, — пронеслось по коридору.

Учеников не выпускали из классов даже во время перемены.

Надзиратели осмотрели, все ли по форме одеты.

Сторожа курили уксусом.

Во всём здании царила мёртвая тишина.

Уже по этому можно было судить, что это было важное посещение.

“Лицо” зашло в класс Артемия Филатовича, подало ему руку, ласково поздоровалось с учениками, посмотрело журнал и заметило:

— А вот, должно быть, способный ученик. Две пятёрки подряд. Подгурский Алексей.

Подгурский вышел к доске, не бросив даже взгляда на Артемия Филатовича.

— Ответьте мне вчерашний урок.

Артемий Филатович побледнел: Подгурский нёс какую-то чушь.

“Лицо” с удивлением посмотрело на ученика, на учителя.

— Позвольте... Да ведь вы вчера за это получили пять?

— Вчера он... — начал было Артемий Филатович, но замолк.

Подгурский исподлобья бросил на него насмешливый, торжествующий взгляд.

Присутствовавший тут же директор то краснел, то бледнел.

— Странно! — поморщилось “лицо”. — Они, видимо, у вас плохо усваивают. Механически заучивают... Плохо усваивают. Вчера знал, а сегодня не знает... Садитесь, г. Подгурский! Постарайтесь лучше усваивать, что учите!

“Лицо”, не желая ставить единиц, поставило ему “нотабене”.

— Очень странно! Плохо, плохо усваивают. Надо заботиться, чтоб усваивали.

И “лицо”, сухо попрощавшись с учениками и учителем, вышло из класса, повторяя на ходу директору:

— На это надо обратить внимание: плохо усваивают.

— Подгурский! — почти крикнул Артемий Филатович.

— Что прикажете?

— Отчего вы не отвечали, как следует? Ведь вы...

— Я знаю этот урок. Только при них сконфузился.

Он глядел дерзко, вызывающе, насмешливо торжествуя победу. В его взглядах так и читалось:

— Что? Отплатил?

У Артемия Филатовича сжимало горло.

— Ну... дождитесь экзамена.

К экзамену Подгурский, видимо, подзубрил: ему было нельзя проваливаться, — в этом классе он не мог сидеть два года.

Когда он вышел отвечать, в его взгляде, дерзком, холодном, насмешливом, как всегда, было ясно написано:

— Не собьёшь, брат. Хочешь не хочешь, а поставишь “удовлетворительно”. Подучил, знаю.

Он спокойно взял билет, развернул, небрежно положил обратно на стол и хотел отвечать.

Но Артемий Филатович спросил не по билету.

Что-то такое, что происходило года два тому назад.

Подгурский смешался.

Артемий Филатович задал ещё более трудный вопрос.

У Подгурского на глазах выступили слёзы.

— Я... я... этого... не помню...

Теперь уже Артемий Филатович взглянул на него с насмешливой, язвительной, торжествующей улыбкой.

— Как же так-с? В пятый класс держите, а того, что во втором проходят, не знаете... Единица!

И он медленно поставил единицу.

У Подгурского перекошилось лицо, слёзы быстро-быстро закапали из глаз, горло перехватило.

— Артемий Филатович... как же это?.. Простите...

— Садитесь...

— Артемий...

— Садитесь...

И Артемий Филатович улыбнулся в первый раз за всё время, пока он разговаривал с Подгурским.

— Следующий.

Подгурский, пошатываясь, пошёл на своё место...

Когда Артемий Филатович на следующий день появился во дворе школы, ученики, толпившиеся около подъезда до начала экзаменов, расступились перед ним в каком-то страхе. Многие даже позабыли ему поклониться, глядя испуганными, широко раскрытыми глазами на Жирафа.

А на лестнице его встретил директор, бледный, перепуганный, взволнованный.

— Подгурский застрелился.

— Как?

— Застрелился вчера вечером. Сегодня нашли тело...

У Артемия Филатовича подкосились ноги, он прислонился к перилам, чтобы не упасть.

Бледный, как полотно, он смотрел глазами, полными ужаса, на директора.

— Как застрелился?

— Говорю вам, что застрелился... Как! Как! Как люди стреляются!

Артемий Филатович провёл рукой по лбу, словно стараясь прийти в себя:

— Я... экзаменовать не могу... у меня... голова...

Он прошёл, ничего не видя, через толпу учеников, которая широко расступилась перед ним, с ужасом глядя на страшного Жирафа.

Он шёл, сам не зная куда, зачем.

— Подгурский Алексей, ученик IV класса, застрелился.

Около свежей могилки, заваленной венками: “От товарищей”, “От убитого горем отца”, “От сестрички”, “Внучку Алёше от бабушки”, стоял на коленях, даже не стоял на коленях, а сидел на корточках, — вот, как сидят дети, надолго поставленные на колени, — Артемий Филатович и плакал, закрывши руками лицо.

Он плакал беззвучно, старческими слезами, только спина и плечи вздрагивали от тихих

рыданий.

- чём плакал тихо, этот бедный, преждевременно состарившийся человек?
- чужой ли загубленной молодости?
- собственной ли загубленной, изломанной, исковерканной жизни, которая довела его до озлобления на ребёнка?
- том ли и о другом ли вместе?
- многом плачет человек, если он заплачет в сорок пять лет от роду.